

А. Е. ПРЕСНЯКОВ

С. М. СОЛОВЬЕВ В ЕГО ВЛИЯНИИ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ¹

Над свежей могилой Соловьева — в некрологе, под первым впечатлением понесенной утраты В. О. Ключевский писал о своем учителе: «С 1845 г. ... он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы». Об историках-исследователях, работающих после Соловьева, Ключевский замечает в том же некрологе, что «каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах».

Это исключительно влиятельное значение Соловьева для целого ряда поколений исследователей русского прошлого и преподавателей русской истории — явление сложного состава. Их зависимость от плодотворных результатов обширного ученого подвига, свершенного Соловьевым в труде целой жизни, и внешняя, так сказать механическая, и более глубокая, внутренняя, органическая. Дело, конечно, в том, что Соловьев, опять приведу слова Ключевского, «первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связал одной мыслью разорванные лоскуты исторических памятников и вынес на свет наличность уцелевших фактов нашей истории». Характерна самая неосторожность этих выражений: тома «Истории России с древнейших времен», вышедшие в свет из года в год в течение почти трех десятилетий, внесли в научный и литературный оборот такую массу новых, свежих сведений, что можно было на мгновение забыть неисчерпанность исторического материала и неисчерпаемость «наличности» исторических фактов. Ключевский был прав, когда далее говорил, что «даже при успешном ходе исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал

¹ Речь на публичном заседании «Союза архивных деятелей» в память С. М. Соловьева 1 июня 1920 г. Архив ЛОИИ, ф. 193, д. 167.

и высказал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги; прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам». И подлинно так. Фактических сведений, почерпнутых из источников и до сих пор неизданных, трудно доступных или даже нелегко поддающихся разысканию, когда прямой ссылки у Соловьева нет, так много в «Истории России», что она, естественно, служила и служит драгоценным пособием, то ориентирующим в основных данных по многим вопросам, то дающим наспех готовую справку и нужное указание. Сошлюсь, для примера, на то, что попытки разыскать первоисточник иных фактических указаний в курсе Ключевского не раз приводят, особенно в истории XVIII в. (впрочем и не только в этом отделе), к тексту Соловьева, материал которого притом иначе использован, иначе истолкован и освещен.

Я назвал эту черту зависимости историков-продолжателей соловьевской работы «внешней, так сказать механической». Такие выражения, конечно, не точны и поверхностны. В ученом труде — особенно такого калибра, как труды Соловьева, — так называемые «факты» отнюдь не механический, внешний элемент. Это «факты, обдуманно подобранные и прагматически истолкованные», и Ключевский, подчеркнув такое соображение, поясняет свои впечатления от лекций Соловьева художественным образом, который позволю себе напомнить, ввиду его многозначительности. «В детстве, помню, — так пишет Ключевский в другой, позднейшей, статье о «Соловьеве, как преподавателе», — где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения и мне думалось, что эти идеи органически выростали из объясняемых ими фактов». Сравнение характерное, но рискованное. И Ключевский, вскрыв им, быть может невольно, нотку своего сомнения, сам поясняет, что связь «идей» и «фактов» в изложении Соловьева более «органична», чем связь вьющихся побегов и обвитой ими колонны. «Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории», так что «слушатель чувствовал ежесекундно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью; в его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение», т. е. являлась (так скажу) насквозь рационализированной. Не ощущаю потребности извиняться за обильные цитаты. Они

ярко и содержательно характеризуют влияние Соловьева, испытанное так глубоко и прочно тем из его учеников, который смел его не только на кафедре Московского университета, но и в значении руководящей силы в русской историографии. М. М. Богословский рассказывает в своей заметке по Ключевскому, как он однажды, советуя своей аудитории пополнить свое изложение чтением «Истории России», добавил: «Там вы найдете те же взгляды, я передаю вам то, что получил от Соловьева, я — ученик Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый». И свое «Краткое пособие по русской истории», изданное «только для слушателей автора», где так содержательно и тонко формулированы в сжатом и удивительно четком изложении основные его концепции главных моментов русского исторического процесса, Ключевский считал только дополнением к «Учебной книге по русской истории» Соловьева.

Сильно было влияние Соловьева на всю русскую историческую литературу подбором, сопоставлением и освещением обильной массы исторических фактов, из которых построена основа его огромного труда. А тем самым сильно было это влияние и в общей ориентировке исторического внимания и интереса, в самой постановке проблем и вопросов. Интересно, например, и поучительно следить, как отражалось и отражается подчас влияние Соловьева на восприятии последующими историками источников, изучаемых ими независимо от Соловьева, как именно при этом нередко внимание их невольно сосредоточивается на тех чертах источника, на тех его данных, на тех фактах, которые Соловьевым были использованы, подчеркнуты и выдвинуты как наиболее существенные, а другие, им незатронутые, остаются в тени, внимания не привлекают, не учитываются при выводах и обобщениях. Сила историографической традиции, пошедшей от Соловьева, сказалась в определенном шаблоне цитат, фактических иллюстраций к тем или иным положениям и характеристикам в составе фактического материала, подвергаемого анализу и осмыслению, притом независимо от более или менее значительного согласия или расхождения с Соловьевым и в предпосылках, и в выводах научного мышления. И расходившиеся с Соловьевым часто, быть может слишком часто, били ему челом его же добром. Ключевский, столь ярко и глубоко переживший влияние учителя, хорошо сознавал методологическое значение этой зависимости нашей историографии от фактического материала, обдуманно и содержательно пущенного Соловьевым в научный и литературный оборот. «Исторические факты, — писал он в одной из своих монографий, — по существу своему — выводы, обобщения отдельных явлений, сходных по характеру; они — то же, что понятия в логической сфере; подобно последним они могут разниться по своей широте, по количеству обобщенного

в них материала, но подобно последним же, они всегда должны сохранять логическое соответствие своему материалу».

Историческое мышление Соловьева, мощное и твердое, плод его цельной и крепкой природы, определительно подчиняло себе как восприятие и сортировку содержания источников, так построение и комбинирование их данных в самом фактическом изложении. Соловьев — признанный основоположник русской истории как особой научной дисциплины, потому что в его трудах на смену «философской» и литературно-художественной историографии века «просвещения», завершенной на русской почве «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина, выступила историческая наука с новым конструктивным принципом обобщения изученного материала. Принцип этот можно назвать социологическим, так как его смысл — в выяснении смены форм, организующих общежитие в среде восточного славянства, т. е. русского народа. Притом в самом подходе Соловьева к этой задаче была одна особенность, также чутко подмеченная Ключевским. Он подошел к русскому историческому процессу с готовой схемой, в основе применимой, по его представлению, к истории каждого народа. Это схема постепенного перехода родового быта в быт государственный. Применение ее к русской исторической действительности внесло в ее содержание любопытные особенности и определило в первую же пору самостоятельной научной работы Соловьева его общий взгляд на существенную структуру русского исторического процесса. «Когда Соловьев начинал писать первый том своей „Истории России“, процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно и оставалось только изложить его подробности». И «в предисловии к первому тому этот взгляд (установленный в первых трудах историка) тот же, каким находим его 13 лет спустя, когда повествователь, дошедши до конца XVII в., на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время». В чем же суть этого взгляда? Соловьев не располагал данными для установления «родового быта» как основной формы общественного строя народной массы в древней Руси. Он постулирует его как социологическую предпосылку, а в исторической действительности — как «естественную и необходимую» форму «первоначального быта» восточнославянских племен. Это представление о «родовом быте» служит ему затем для построения теории отношений между князьями Рюрикова дома. «Родовой быт» у Соловьева — «исходная точка развития древнерусских политических форм» и изучается им «более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития». Таковы опять слова Ключевского, который, метко уловив ту особенность «теории родового быта», что она на русской почве применена только к строю отношений в кругу владетельного княжого рода, переработал ее

в свою теорию «очередного порядка княжеского владения в Киевской Руси», отвергнув предпосылку о «родовых отношениях» в «частном быту русских славян», и признал столь «своеобразный политический порядок» результатом «своеобразного положения династии». Эта «поправка» к Соловьеву резко подчеркивает характерную особенность соловьевской теории русского исторического процесса: это теория смены политических форм, организующих народную жизнь влиянием «правительственного начала». Соловьев мог бы назвать свой главный труд «Историей государства Российского» в ином и более глубоком смысле, чем Карамзин: как историю русской государственности. «Правительство, — так рассуждал он, — в той или другой форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни». И далее: «Правительство, какая бы ни была его форма, представляет свой народ; в нем народ олицетворяется, и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка. История имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе и потому для истории нет возможности иметь дело с массами». Историки «должны изучать деятельность *правительственных лиц*, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения *народной жизни*». «Вот почему, — поясняет Соловьев, — подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохраняет навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов». И это общее воззрение Соловьева имело сугубую силу по отношению к России. Географические условия исторической жизни в Восточно-европейской равнине, которые Соловьев сумел оценить и выяснить так ярко и содержательно, определили многое в судьбах обширного государства, строившегося в медленном движении по обширной стране небольшого сравнительно и разбросанного по ней населения. В особенности повлияли эти условия на роль «правительственного начала» в русской истории. «Несплоченные части народонаселения должны приводиться в связь и общее движение внешнею силою, отчего правительственная деятельность должна достигать крайнего напряжения, не встречая подмоги в крепко сплоченной массе народонаселения». И Соловьев сравнивает государственную организацию с хирургической повязкой, наложенной на разрозненные живые ткани в ожидании, что они, связанные механически, постепенно срастутся и внутренней, органической связью. Так, для историка России правительственная сила творит эту историю, творит саму нацию из косного этнографического материала.

На фоне таких общих воззрений получает свой особый характер и схема родового быта, его разложения и перехода в отноше-

ния государственные. Это процесс, совершающийся, собственно, в правящей среде; его стадии-моменты в развитии русской государственности; его значение в их влиянии на организацию общественных классов правительственной властью, на внешние и внутренние судьбы страны. Смена систем династических отношений и династического права получает значение важнейшей стороны русского исторического процесса. А в этой смене наиболее показательно чередование господствующих понятий: об общем владении при господстве понятий родовых или семейных, о собственности на отдельное, выделенное владение при господстве понятия собственности, наследственности владения над понятиями семейными, о всей земле как вотчине государевой при переходе к единодержавию.

Проведение такого цельного взгляда на русский исторический процесс в обобщенном изложении массы фактического материала придало ему определяющую силу в постановке очередных вопросов и глубоко повлияло на те или иные опыты их разрешения. Историки-юристы отозвались на задания, поставленные Соловьевым, став на ту же почву, т. е. признавая, что «государственный, политический элемент один соосредоточивает в себе весь интерес и всю жизнь древней Руси», как выразил свою мысль К. Д. Кавелин, или, как заявил Б. Н. Чичерин, что «существенное значение нашей истории состоит в развитии государства». Такая исходная точка зрения ставила перед ними любопытную и несколько парадоксальную задачу: определить юридическую, правовую природу «политического элемента» в тот исторический период, который, по принятой схеме, предшествовал развитию государственных отношений, так сказать догосударственного политического строя. Кавелин придал соловьевской схеме большую логическую стройность, отвергнув представление о переломе в политическом развитии между южной, Киевской и северной, Суздальской Русью, признал, что «история наших князей представляет совершенно естественное перерождение кровного быта в юридический и гражданский», по мере того как «территориальные, владельческие интересы» берут верх над «кровными и родственными», окончательная же победа первых — в уничтожении уделов: разрушении семейно-владельческих отношений в пользу единовластия одного вотчинного владельца всей Русью создает почву для новой идеи, и эта идея — государство. Чичерин еще упростил схему признанием, что родовые отношения разрушены на Руси водворением власти варяжских князей, а «юридическую форму» политического быта древней Руси с IX по XV в. определил как «гражданское общество», все отношения которого построены на началах частного права: на собственности и свободном договоре. О какой-либо государственности может быть речь, по Чичерину, только с водворения единой власти, так как «нераз-

дельность общества, территории и верховной власти, одним словом единоедержавие, составляет первое и главное условие государственного быта».

Такая постановка основных задач русской исторической науки имела неисчислимы методологические последствия. С формальной стороны она как бы узаконивала безразличное пользование источниками за ряд столетий, летописными текстами XII—XVI вв., грамотами XIV, XV и XVI столетий как однородной массой данных для изучения одного исторического явления «древней Руси», без учета при их критике разнородных исторических условий, в каких они возникли. Со стороны материальной эта постановка дела исторического изучения русского прошлого не только выдвигала на первый план государственную и даже уже — правительственную историю, но предустанавливала суждение о крайней скудости, слабости и незначительности каких-либо общественных сил и культурных течений. Скорбное и суровое суждение о русской старине стало характерной чертой «западничества» так называемой историко-юридической школы и вошло под ее влиянием существенным элементом в традицию нашей общественной мысли.² Ребром был поставлен вопрос о взаимоотношении государственного, правительственного элемента и общественной, народной жизни в русской истории и получил твердый, определенный ответ. И ответ этот, созданный не только работой сильной и содержательной теоретической мысли, но и определенным общественным воззрением и настроением, встретил с обеих точек зрения научной и общественной, гражданской, не только поддержку и дальнейшее развитие, но также решительные, горячие возражения. Построения и выводы Соловьева отрицательно определили работу мысли славянофильского кружка и прежде всего Константина Аксакова. Выдвигая против соловьевской «теории родового быта» значение «общинных» начал в древнерусском быту, Аксаков отстаивал большую зрелость и содержательность древнерусской общественности и культуры. Явления, которые Соловьеву представлялись чертами родового быта, например «изгойство», Аксаков характеризовал как общественные, т. е. как явления более выработанного, определившегося и сложного общественного строя, чем первобытные формы

² Воззрение С. М. Соловьева и всей историко-юридической школы на государственную власть как на основную живую творческую силу исторического процесса близко к общему взгляду Грановского на соотношение массы и личности: «Массы... коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность; в этом разложении масс мыслью заключается процесс истории». Само по себе суждение о государственной власти как движущем начале исторической жизни не создано заново историками-западниками даже и на русской почве. Герцен писал еще в 1836 г.: «В гражданском обществе прогрессивное начало есть правительство, а не народ».

родовых, на кровной основе построенных отношений. Это воззрение выдвигало самоценность изучения русской общественности и народного быта, вне их связи с «государственной» или «правительственной» историей и шло навстречу богатому развитию «изучений русской народности» в 40—50-х годах минувшего века. Воззрение это сохраняло и по-своему даже углубляло противопоставление государственной, правительственной деятельности, с одной стороны, и жизни народной, общественной массы — с другой, но преимущество творческой, исторической содержательности отдавало этой последней. Оно было глубоко плодотворно для развития русской исторической науки прежде всего потому, что направляло изучение в область так называемой культурной истории, мало затронутой трудами историко-юридической школы. Вместе с тем спор о господстве «родовых» или «общинных» отношений в древней Руси ставил на очередь изучение древне-русского социального строя. Выдвигались вопросы, разработка которых неизбежно выходила за пределы схем историко-юридической школы, расшатывала их определительное, руководящее значение, но не могла его упразднить, потому что не заменяла иной, равносильной общей концепцией русского исторического процесса. С другой стороны, хотя и отпадали в дальнейшем развитии историографии предпосылки господствовавшей схемы, отвергались методы ее построения по принципу раскрытия общего «начала», которое, развертываясь в ходе исторической жизни, разлагаясь и переходя в свою диалектическую противоположность, определяло ход исторического процесса, — однако сохраняли силу и многие существенные определения и положения, отдельные теоремы того же научного наследия в значении добытых наукой фактов как будто их обоснование и построение не зависело от тех же предпосылок и методов, сохранялась и привычная группировка и периодизация исторического материала.

С особой наглядностью сказалась сила историографической традиции на трудах Ф. И. Леонтовича. Известна крупная его научная заслуга в выяснении, путем сравнительного изучения бытовых форм славянского народного общественного строя, так называемой задруги как основного явления социальных отношений и обычного права. Но известно и то, как увлечение этим наблюдением и попытка возвести понятие задруги в основной конструктивный принцип всего древнерусского политического строя, так что княжеский род оказался «задругой для всего народа, для всех волостей», исказило и самое понимание «задруги» и всех основных явлений древнерусского политического и общественного быта. Ярко сказалось сильное влияние приемов построения, установленных схем и отдельных выводов историографической традиции, пошедшей от Соловьева и историко-юридической школы на трудах таких самобытных ученых, как И. Е. Забелин, В. И. Сергеевич, В. О. Ключевский.

Забелин в основных трудах своих смотрит на древнюю Русь как на цельный, законченный в себе культурно-исторический тип и ищет определения его единой, существенной основы. Глубокий знаток московского быта, притом прежде всего быта боярской среды и государева дворца, Забелин находит эту основу в местничестве как высшем проявлении «родового начала», которое проникает собою, формирует и характеризует весь строй старинной русской жизни — вече и дружину, власть и общество.³

В. И. Сергеевич примкнул к традициям историко-юридической школы в их чичеринской редакции. Его глубокие изучения в области истории русского права отлились в форму «древностей» этого права, догматизирующих его основные явления как однородные в своей правовой сущности за огромный период — с половины X в. до XVI столетия. Содержательный историзм, проявленный Сергеевичем в очерке «Как и из чего образовалась территория Московского государства?», принесен в жертву обобщенной статике «Древностей русского права», которые выдвинули выяснение определенных «юридических начал» в системе государственных и сословных отношений в ущерб изучению их эволюции. Поистине парадоксальное явление в истории науки — возврат крупнейшего ее представителя от «истории права» к устарелому типу изложения ее материала по системе «древностей права», может быть понято только в связи с методологическим влиянием традиций историко-юридической школы. И в данном случае особо показательно, что как раз ученый, так метко и глубоко подошедший к выяснению роли в судьбах политического и общественного строения Руси таких социальных сил, как землевладельческое боярство, не использовал своих, быть может, наиболее ценных научных наблюдений во всей широте их значения.

Но всего сложнее вопрос об отношении трудов В. О. Ключевского к наследию С. М. Соловьева. Я упоминал о том, как, по свидетельству одного из учеников Ключевского, он с крайней скромностью признавал себя только хранителем этого наследия, которое и передает в своем изложении младшему поколению. А между тем не будет преувеличением сказать, что трудно найти более противоположные натуры, более различные уклады мировоззрения, темперамента и дарования, чем те, коих представители Соловьев и Ключевский. По-видимому, в этой противоположности источник огромного влияния учителя на ученика: неуклонной силы логичной, схематизирующей мысли на художественную, восприимчивую ко всему конкретному и яркому в изучаемой старине впечатлительность. На деле

³ Об интересной и показательной эволюции воззрений И. Е. Забелина ср. мою статью о нем в «Вестнике Европы», 1909, февраль: статическая картина «древней Руси» постепенно разлагалась в эволюционную схему русской исторической жизни.

Ключевский подошел к своим научным заданиям с решительно иными запросами, чем те, какие ставила традиция Соловьева. В начале труда своего «Боярская дума», в тех его страницах, которые погребены в журнале «Русская Мысль» за 1880 г. и не вошли в отдельное издание, Ключевский как бы порывает с этой традицией. «В истории наших древних учреждений, — читаем тут, — остаются в тени общественные классы и интересы, которые за ними скрывались и через них действовали»; рассмотрена внимательно только «лицевая сторона» старого государственного здания, но остается еще задача изучить его основания и «социальный материал», из которого оно построено; «тогда, быть может, и процесс образования нашего государственного порядка, и значение его правительственных учреждений предстанут перед нами несколько в ином виде, чем как представляются теперь». В наследии историко-юридической школы Ключевский видит «диалектическую схему», которая выражает лишь «смену начал, развитие идеи государства, точнее — идеи государственной власти, а не самого государственного порядка». Эти страницы Ключевского должны были в свое время произвести впечатление выступления нового исторического мировоззрения, которое идет на смену старому, соловьевскому. По существу оно так и было. Ключевский подходил к русскому прошлому с иными общими воззрениями и с иным настроением. Историк-социолог по строю своей научной мысли, он пристально изучает общественную структуру, определявшую своим строем и смену государственных форм; историк-художник — он чуток к действию живых исторических сил, столь часто поддающихся скорее образной характеристике, чем четкому определению. И тем не менее едва ли Ключевский намеренно преувеличивал свою зависимость от Соловьева. Он ощущал ее, по-видимому, столь же крепко, как признавал на словах. Можно, кажется, сказать, что она ему нелегка была. Пересказ в статье «С. М. Соловьев» исторической схемы великого учителя, того «ряда мыслей», большая часть которых «стала теперь достоянием нашего общественного сознания», звучит подчас сдержанным протестом, сказывающимся в самой утрировке соловьевских формул. И в целом научная работа Ключевского стоит в весьма сложном, я бы сказал, внутренне противоречивом отношении к наследию С. М. Соловьева. В монографических изучениях он идет иными, новыми путями; во всем отношении к «правительственному элементу», к его роли в русской жизни — он антипод Соловьева; даже принятые Ключевским построения и обобщения Соловьева получают столь иное содержание, что в корень перерождаются в самых основах своего смысла и значения. И тем не менее это новое содержание вложено в старые схемы, хотя и «тесно вину новому в мехах старых». Соловьевская схема в переработке Ключевского распадается на части, теряет свою стройную закон-

ченность и внутреннюю связность. И все-таки держится, определяя и связывая его изложение. Ряд ее элементов и притом основных сохранен и лишь частично переработан Ключевским: порядок княжеского владения в древней Руси, понятие «удела» как собственности, представление о колонизации верхневолжской Руси как основе нового политического порядка, собиране земли частнопрововыми приемами прикупа и иных примыслов — все это элементы соловьевского наследства, обусловленные предпосылками и приемами его общей историко-юридической концепции русского исторического процесса. Они преобразованы в ярких, конкретных характеристиках, какие Ключевский дает главным моментам древнерусской истории, но стоят вне того прямого и глубокого отношения к источникам, которое так ценно в его монографических работах и этюдах.⁴ Историк-социолог не сменил схем историко-юридической школы, цельной, построенной на обновленной социологической основе, концепцией русского исторического процесса. Мощное влияние построений Соловьева остается в силе даже вопреки иным запросам, иным исканиям научной исторической мысли. С памятью о С. М. Соловьеве связано представление о целом обширном периоде в истории русской науки и русского общественного сознания. Его сверстники и его преемники зависели от его идей, методов и выводов как в разработке им установленных положений, так и в борьбе с его выводами и воззрениями. Он — центральное лицо всей русской историографии, так как в его труде — итог предыдущей подготовительной работы, итог, сделавший русскую историю — наукой и обогащенный огромными результатами собственных разысканий, и так как в его трудах исходные точки большинства дальнейших течений русской исторической мысли.

⁴ Об отношении трудов Ключевского к наследию Соловьева и историко-юридической школы см. сборник статей: «В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания». М., «Научное слово», 1912.